

Александр Иванович Куприн

# Искушение



Александр Куприн

**Искушение**

«Public Domain»

1910

## **Куприн А. И.**

Искушение / А. И. Куприн — «Public Domain», 1910

«— Вот вы все говорите: случай, случай... Да ведь в том-то и дело, что на всякий пустячный случай можно взглянуть поглубже. Позвольте заметить, что мне теперь уже шестьдесят лет. А это — как раз такой возраст, когда человеку, после всех его мыканий, страстей и бурления, остаются три пути: стяжательство, честолюбие и философия. Даже, собственно, два. Честолюбие как-никак, а все-таки состоит в стяжании, накоплении и расширении мирских или небесных возможностей...»

© Куприн А. И., 1910

© Public Domain, 1910

## Александр Иванович Куприн

### Искушение

– Вот вы все говорите: случай, случай... Да ведь в том-то и дело, что на всякий пустячный случай можно взглянуть поглубже.

Позвольте заметить, что мне теперь уже шестьдесят лет. А это – как раз такой возраст, когда человеку, после всех его мыканий, страстей и бурления, остаются три пути: стяжательство, честолюбие и философия. Даже, собственно, два. Честолюбие как-никак, а все-таки состоит в стяжании, накоплении и расширении мирских или небесных возможностей.

Философом я себя назвать, конечно, не смею: слишком громоздкий титул и... как-то не к лицу-с. К тому же всегда на меня можете цыкнуть: «А покажи твой багаж и твой аттестат!» Но зато прожил я жизнь чрезвычайно большую и весьма пеструю. Видел богатство, и нищету, и болезнь, и войну, и утрату близких, и тюрьму, и любовь, и падение, и веру, и безверие. И даже – хотите верьте, хотите нет, – даже людей видел. Это не мудрено, по-вашему? Мудрено-с. Чтобы другого человека рассмотреть и понять, нужно первым делом уметь совершенно забыть о собственной персоне: о том, какое пленительное впечатление произвожу я на окружающих и сколь я великолепен на лоне природы. А это мало кто умеет, уверяю вас.

И вот, грешный человек, люблю я на склоне моих дней поразмышлять над жизнью. К тому же я теперь одинок и стар; ночи-то наши стариковские, знаете, какие длинные? А память и сердце сохранили мне живьем тысячи событий – своих и всяческих. Но одно дело переживать воспоминания, как корова крапиву, а другое – сопоставлять их умно и с толком. Что я и называю философией.

Вот мы с вами коснулись случая и судьбы. Охотно соглашусь с вами: случай бестолков, капризен, слеп, бесцелен, попросту глуп. Но над жизнью, то есть над миллионами сцепившихся случаев, господствует – я в этом твердо уверен – непреложный закон. Все проходит и опять возвращается, рождается из малого, из ничего, разгорается, мучит, радуется, доходит до вершины и падает вниз, и опять приходит, и опять, и опять, точно обвиваясь спирально вокруг бега времени. А этот спиральный путь, сделав, в свою очередь, многолетний оборот, возвращается назад и проходит над прежним местом и делает новый завиток – спираль спиралей... И так без конца.

Вы, конечно, возразите мне, что если бы этот закон на самом деле существовал, люди давным-давно открыли бы его и читали бы будущее, как по какой-нибудь картограмме. Нет, не то. Мы, люди, знаете ли, похожи на ткачей, посаженных вплотную около бесконечно длинной и бесконечно широкой основы. Какие-то краски перед глазами, цветочки, лазурь, пурпур, зелень, и все это бежит, бежит и уходит... но рисунка, по близости расстояния, нам не разобрать. Только людям, стоящим выше жизни, над нами, – гениальным ученым, пророкам, сновидцам, блаженным, юродивым и поэтам иногда удается уловить в жизненной суматохе острым и вдохновенным взором начало гармоничного узора и предсказать его конец.

Вы находите, что я пышно выражаюсь? Не правда ли? Подождите, дальше будет еще курчавее. Конечно, если вам не скучно... Впрочем, что же и делать в вагоне, как не болтать?..

С законом, управляющим одинаково мудро как течением созвездий, так и пищеварением таракана, я охотно мирюсь, верю ему и благословляю его. Но есть Некто или Нечто, что сильнее судьбы и мира. Если оно Нечто, то я назвал бы его законом логической нелепости или нелепой логичности, как хотите... Я не умею выразиться. Если же это Некто, то это такой Дух, перед которым наш библейский дьявол и романтический сатана оказываются маленькими шутниками и совсем незлобивыми проходимцами.

Вообразите себе власть над миром, почти божескую, и рядом отчаянную мальчишескую проказливость, не ведающую ни зла, ни добра, но всегда беспощадно жестокою, остроумною

и, черт возьми, как-то странно справедливую! Может быть, вам непонятно? Тогда позвольте высказаться пообразнее. Возьмем Наполеона: сказочная жизнь, невероятно грандиозная личность, неистощимая власть, – и, глядь, под конец: крошечный островишко, болезнь мочевого пузыря, жалобы на пищу и докторов, старческое брюзжание в одиночестве... Конечно, этот жалкий закат был только насмешкой, одной кривой улыбкой моего таинственного Некто. Однако вдумайтесь хорошенько в эту трагическую биографию, отбрасывая толкования ученых (у них ведь все объясняется просто и законно), и вот, не знаю, как вы, но я ясно вижу, что в ней уживаются рядом нелепость и логичность, а объяснить этого себе я не могу.

Генерал Скобелев. Крупная, красивая фигура. Отчаянная храбрость и какая-то преувеличенная вера в свою судьбу. Вечная насмешка над смертью. Эффектная бравада под убийственным огнем и вечное стремление к риску, какая-то неудовлетворенная жажда опасности. И вот – смерть на публичной кровати в захватанном номере гостиницы, в присутствии потаскушки. Опять повторяю: нелепо, жестоко, но почему-то логично. Как будто обе эти жалкие смерти своим контрастом округлили, отенили, дорисовали два пышных существования.

Древние знали этого таинственного Некто и боялись его (вспомните Поликратов перстень), но они ошибочно принимали его шутки за зависть судьбы.

Уверяю вас, то есть не уверяю, а я сам глубоко в этом уверен, что когда-нибудь, лет тысяч через тридцать, жизнь на нашей земле станет дивно прекрасною. Дворцы, сады, фонтаны... Прекратится тяготение над людьми рабства, собственности, лжи и насилия... Конец болезням, безобразию, смерти... Не будет больше ни зависти, ни пороков, ни ближних, ни дальних, – все сделаются братьями. И вот тогда-то *Он* (заметьте, я даже в разговоре называю его с большой буквы), пролетая однажды сквозь мироздание, посмотрит, лукаво прищурясь, на Землю, улыбнется и дохнет на нее, – и старой, доброй Земли не станет. Жалко прекрасной планеты, не правда ли? Но подумайте только, к какому ужасному, кровавому, оргиастическому концу привела бы эта всеобщая добродетель тогда, когда люди успели бы ею объесться по горло. Впрочем, к чему нам такие пышные примеры, как наша Земля, Наполеон и древние греки? Я сам улавливал изредка проявление этого страшного, неисповедимого закона при самых обыденных обстоятельствах. Хотите, я вам расскажу об одном простом случае, где я въявь почувствовал насмешливое дыхание этого бога?

Дело было так. Я ехал из Томска в общем вагоне первого класса. Со мной, в числе соседей, был молодой путейский инженер, чудесный малый, добродушный толстяк. Простоватое русское лицо, холеное и круглое, белобрысый, волосы ежиком, и сквозь них просвечивает розовая кожа... этакий ласковый, добрый йоркширчик! И глаза у него были какого-то мутно-голубого поросячьего цвета.

Он оказался очень приятным соседом. Я редко видел таких предупредительных людей. Сразу он уступил мне нижнее место, сам помогал мне взгромоздить мой чемодан на сетку и вообще был так любезен, что становилось даже немного неловко. На станциях он запасался провизией и вином и с милым радушием угощал попутчиков.

Я сразу же заметил, что в нем кипит и рвется наружу какое-то большое внутреннее счастье и что ему хочется видеть вокруг себя всех людей также счастливыми.

Так это и оказалось на самом деле. Через десять минут он уже начал выкладывать предо мной свою душу. Правда, я заметил, что при первых же его изливаниях соседи как-то неловко заерзали на своих местах и уж слишком преувеличенно-усердно начали наблюдать дорожные пейзажи. Впоследствии я узнал, что они слышали этот рассказ, по крайней мере, по десяти раз каждый. Их участи не избег и я.

Ехал этот инженер с Дальнего Востока, где провел пять лет, и, стало быть, не виделся пять лет со своей семьей, оставленной в Петербурге. Он, собственно, рассчитывал пробыть в командировке самое большее год, но сначала задержала казенная работа, потом подвернулось выгодное частное предприятие, потом оказалось невозможным оставить дело, которое стало

уж чересчур большим и прибыльным. Теперь, ликвидировав все дела, он возвращался домой. Где же тут было обвинять его за болтливость: пробыть пять лет вдали от любимой семьи и возвращаться домой молодым, здоровым, с большой удачей и с неиспользованным запасом любви! Какой человек мог бы подавить в себе молчание, смирить этот страшный зуд нетерпения, которое возрастает с каждым часом, с каждой сотнею пройденных верст?

Я скоро от него узнал все семейные подробности. Его жену зовут Сусанной, или «Санночкой», а дочь носит странное имя «Юрочка». Он оставил дочку трехлетним ребенком. «Воображаю, – восклицал он, – теперь совсем уж барышня, – невеста!» Узнал я и девическую фамилию его жены, и все бедствия, которые они испытали вдвоем, когда он женился, будучи студентом последнего курса, не имея даже двух пар панталон, и каким прекрасным товарищем, нянькой, матерью и сестрой была в это время для него жена.

Он бил себя в грудь кулаком, краснел от гордости, сиял глазами и кричал: – Если бы вы знали! Кр-расавица!.. Будете в Петербурге, я вас познакомлю. Непременно заходите ко мне, непременно. Без всяких церемоний и отговорок, Кирочная, сто пятьдесят шесть. Я вас познакомлю, и вот вы сами увидите мою старуху. Королева! У нас на путевых балах всегда была королева бала. Ей-богу же, приходите, иначе обидите.

И всем нам он раздавал свои визитные карточки, где карандашом зачеркивал свой маньчжурский адрес и надписывал петербургский, и тут же сообщал, что эта шикарная квартира была нанята его женою всего лишь год тому назад по его настоянию, когда дела шибко пошли в гору.

Да... водопадом из него било! Раза по четыре в день на больших станциях он посылал домой телеграммы с ответом, уплаченным на другую большую станцию или просто в поезд номер такой-то, пассажиру первого класса такому-то. И надо было видеть его в тот момент, когда входил кондуктор и возглашал нараспев: «Телеграмма пассажиру первого класса такому-то». Уверяю вас, у него вокруг лица образовывался сияющий нимб, как у святых угодников. Кондукторов он награждал по-царски; впрочем, не одних только кондукторов. У него была непреодолимая потребность всех обласкать, осчастливить, одарить. Он и нам совал на память разные безделушки из сибирских и уральских камней, вроде брелоков, запонок и булавок, китайских колечек, нефритовых божков, и другие мелочи. Были между ними вещи очень ценные как по стоимости, так и по редкой художественной работе, и, знаете, невозможно было отвязаться от него, несмотря на стеснительность и неловкость принимать подобные подарки, – так уж он убедительно и настойчиво просил. Ведь это все равно как не устоишь, когда ребенок упрашивает вас взять у него конфетку.

С собой же он вез пропасть вещей как в багаже, так и в вагоне, и все это были подарки для «Санночки» и для «Юрочки». Чудные вещи были: курмы китайские шелковые бесценные, слоновая кость, золото, миниатюры на сардониксе, меха, расписанные веера, лакированные шкатулочки, альбомы, – надо было видеть и слышать, с какою нежностью, с каким восторгом говорил он о своих близких людях, показывая эти вещи. Пусть его любовь была немного слепа, чересчур шумна и слишком эгоистична, пусть она была даже чуть-чуть истерична, но клянусь вам, что сквозь эти условные и пошлые завесы я прозревал настоящую громадную любовь – любовь острой и жгучей напряженности.

Тоже помню. На одной станции делали прицепку вагона, и стрелочнику отрезало ступню. Немедленно вагонная публика – самая праздная и дикая, самая жестокая публика в мире – полезла глазеть на кровь. Но инженер, не останавливаясь в толпе, подошел скромно к начальнику станции, поговорил с ним немного и передал ему из бумажника какую-то сумму, должно быть, немалую, так как красная шапка была приподнята очень почтительно. Сделал он это чрезвычайно скоро: один только я и видел его поступок, – у меня на эти вещи вообще глаз замечательный.

Впрочем, видел я также и то, как он, воспользовавшись задержкой поезда, успел все-таки юркнуть в телеграф.

Вот как сейчас помню его идущим поперек платформы: форменная белая фуражка на затылке; широкая, длинная рубаха-косоворотка из прекрасной чесучи; через одно плечо ремень с биноклем, через другое, накрест, ремень с сумкой, – идет из телеграфа такой свежий, мясистый, крепкий и румяный, со своим видом раскормленного, простоватого деревенского парня.

И чуть большая станция – сейчас же ему телеграмма. Кондуктора так избаловались, что уже сами бегали справляться на телеграф, – нет ли для него депеши. Бедный мальчик! Не мог он скрыть в себе своей радости и читал нам телеграммы вслух, точно у нас и других забот не могло быть, кроме его семейного счастья. «Будь здоров, целуем, ждем нетерпеливо, Санночка, Юрочка». Или: «С часами в руках слежу по расписанию от станции до станции твой путь, душой и мыслью с тобой», – и все в этом роде. Ей-богу, была даже одна такая телеграмма: «Поставь часы по петербургскому времени, ровно в 11 гляди на звезду Альфа Большой Медведицы, – я тоже».

Между нами был один пассажир – владелец, бухгалтер или управляющий золотого прииска, сибиряк, ликом вроде Моисея Мурина: сухое длинное лицо, густые черные, суровые брови и длиннейшая, пышная, седеющая борода, – человек, как видно, чрезвычайно искусенный жизненным опытом. Он осторожно заметил инженеру:

– А знаете, молодой человек, вы напрасно телеграммами так злоупотребляете.

– Что вы? Каким образом напрасно?

– А так, что нельзя же все время дамочку держать в таком приподнятом и взвинченном настроении. Надо и чужие нервы щадить.

Но он только рассмеялся и похлопал мудрого человека по колену.

– Эх, батенька, знаю я вас, людей старого завета. Вы в дорогу-то собираетесь тишком-тишком, норовите нагряться нежданно-негаданно. А все ли, мол, у меня в порядке около домашнего очага? А?

Но иконописный человек только шевельнул своими бровищами и ухмыльнулся.

– Ну-к что ж. И это иногда невредно.

От Нижнего с нами ехали уже другие пассажиры, от Москвы – опять новые. Волнение моего инженера все нарастало, – что с ним было делать? Он умел быстро со всеми перезнакомиться. С женатыми людьми говорил о святости очага, холостым пенял на неряшливость и разор холостой жизни, с девицами сводил разговор на единую и вечную любовь, с дамами толковал о детках. И сейчас же переходил к своей Санночке и своей Юрочке. До сего времени у меня в памяти осталось, как его дочурка говорила: «А я в жолтыф сапогаф», «против нас ваптекарский магазин». И еще один разговор. Она тискала кошку, а кошка мяукала. Мать ей говорит: «Оставь, Юрочка, кошку, ей больно». А она отвечает: «Нет, мама, это кошке удовольствие». И еще, как она увидела на улице воздушные шары и вдруг сказала: «Мама, какие они восторгательные!»

Мне все это казалось нежным, трогательным, но немного, признаюсь, и скучноватым.

Утром мы подъезжали к Петербургу. День был мутный, дождливый, кислый. Туман не туман, а какая-то грязная заволока окутывала ржавые, жидкие сосенки и похожие на лохматые бородавки мокрые кочки, тянувшиеся налево и направо вдоль пути. Я встал раньше, чтобы успеть умыться, и в коридоре столкнулся с инженером. Он стоял у окна и поглядывал то на дорогу, то на часы.

– Доброго утра, – сказал я, – что вы делаете?

– Ах, здравствуйте, доброго утра. Да вот я проверяю скорость поезда, – теперь идем около шестидесяти верст в час.

– По часам проверяете?

– Да. Это очень просто. От столба до столба, видите ли, двадцать пять сажен – двадцатая часть версты. Стало быть, если мы проехали эти двадцать пять сажен со скоростью четырех секунд, то часовая скорость равна сорока пяти верстам; если в три – то шестидесяти, а в две – девяноста. Впрочем, можно узнать скорость и без часов, – нужно только уметь отсчитывать секунды: надо как можно скорее, но, однако, явственно, считать до шести, вот так: раз, два, три, четыре, пять, шесть... раз, два, три, четыре, пять, шесть... – это *способ* австрийского генерального штаба. Так он говорил, бегая глазами и переминаясь на месте, но я, конечно, отлично знал, что весь этот счет австрийского генерального штаба – один только отвод глаз и что просто-напросто инженер обманывал свое нетерпение.

За станцией Любань на него даже жалко стало смотреть. Он на моих глазах побледнел, осунулся и как будто постарел. Он даже говорить перестал. Притворялся, будто бы читает газету, но видно было, что это занятие ему противно и тошно, да и держал он газету иногда вверх ногами. Посидит-посидит на месте минут пять и снова бежит к окну, и опять сядет и дергается на месте, точно подталкивает поезд вперед, и опять подойдет к окну в проходе и давай проверять по часам, – так и вертит головой влево и вправо. Ах, как я знаю, – да и кто не знает? – что дни и недели ожидания – пустяки в сравнении с этим последним получасом, с последнею четвертью часа.

Но вот наконец семафор, бесконечная путаница пересекающихся рельсов, вот длинная деревянная платформа, бородатые артельщики в белых фартуках... Инженер надел свое форменное пальто, взял ручной сак и вышел на переднюю площадку. Я же выглянул в окно, чтобы крикнуть носильщика, как только поезд остановится. Из своего окна я отлично видел инженера, который также высунулся из открытой двери, что ведет на ступеньки. Он заметил меня, закивал головой и улыбнулся, но я успел издали заметить, что он был поразительно, неестественно бледен в эту минуту.

Мимо нашего вагона мелькнула высокая дама в какой-то серебристой кофточке, в большой бархатной шляпе, под синей вуалью. Была с ней и девочка в коротком платье, с длинными ножками, в белых гамашах. Обе они тревожно посматривали, одновременно провожая головами каждое окошко. Но они пропустили. Я слышал, как инженер крикнул странным, глухим и вздрагивающим голосом:

– Санночка!

Кажется, обе обернулись. И вдруг... Короткий, страшный вопль... Никогда не забуду... Какой-то ни на что не похожий крик недоумения, ужаса, боли и жалобы... На секунду я увидел голову инженера, без шапки, где-то между низом вагона и платформой, увидел не лицо, а его светлые волосы ежиком и розоватое темя, но голова только мелькнула, и больше ничего не осталось...

Потом меня допрашивали как свидетеля. Помню, как я все пытался успокоить его жену, но что в таких случаях скажешь? Я видел и его: расплоснутый, исковерканный, красный кусок мяса. Он уже и дышать перестал, когда его вынули из-под вагона. Передавали, что ему сначала отрезало ногу, но он инстинктивно хотел поправиться, повернулся и попал под колеса грудью и животом.

И вот подходит самое страшное во всем том, что я вам рассказываю. В эти тяжелые, никогда не забываемые минуты меня ни на момент не оставляло странное сознание: «Глупая смерть, – думал я, – нелепая смерть, жестокая, несправедливая, но почему-то с самого первого момента, сейчас же после его крика, мне стало ясным, что это непременно должно было случиться, что эта нелепость логична и естественна. Почему это было так? Объясните мне. Разве здесь не чувствовалась равнодушная улыбка моего дьявола?»

Вдова его (я потом был у нее; она меня очень подробно и много расспрашивала о нем) так и говорила, что оба они искушали судьбу своей нетерпеливой любовью, уверенностью в свидании, уверенностью в завтрашнем дне. Что же... может быть... я ничего верного не знаю...



На Востоке (а ведь это истинный кладезь древней мудрости) человек никогда не скажет, что он намерен сейчас или завтра сделать, не прибавив «инш алла», что значит: «Во имя бога», или же: «Да будет воля бога». Но мне все-таки кажется, что здесь было не искушение судьбы, а все та же нелепая логичность таинственного бога. Ведь большей радости, чем это взаимное ожидание, когда, побеждая расстояние, они издали сливались вместе, – большей радости эти люди, наверное, никогда бы не испытали. Бог знает, что их ждало завтра! Разочарование? Утомление? Скука? Может быть, ненависть?